

24 мая исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова – выдающегося русского советского писателя, лауреата Нобелевской премии. Он остаётся одним из самых читаемых писателей, и читающая Россия готовится встречать его 100-летие по всем городам и весям – от Москвы и станицы Вёшенской до самых отдалённых регионов, где живут его читатели. Этой страницей «ЛГ» открывает серию публикаций, посвящённых шолоховскому юбилею.

Предсмертная жизнь Михаила Шолохова... Он никого из посторонних не впустил в неё. Не писал писем с предчувствием. Не созывал друзей-соратников, чтобы высказать напутствие. Нельзя было и подумать, что пригласит журналиста для интервью.

«ПЕСЕЛЬНИКАМ ЧАРКУ!»

Так уж получилось, что пока не воссоздать картины, кою выписывала Шолохову его судьба – точнее, он сам себе, последних лет жизни. Лишь некая мозаика.

1980-й... ЦК решил отметить 75-летие Шолохова присвоением ему второго звания Героя Социалистического Труда.

Когда исполняли протокольное – устанавливали бюст дважды Героя, у вёшенца спросили: «Какие цветы лучше посадить у подножия?» Ответил с лукавой усмешечкой: «Полынь!»

Он пожелал увидеть в день своего рождения гостей.

– Сколько приглашать?

– Не больше того, сколько усядется в нашей столовой...

И мне выпала доля быть приглашённым 24 мая в Вёшки.

Сам юбиляр по сильной слабости от недавней болезни – говорили, что инсульт – в станичный Дворец культуры прийти не смог. Но не остался в одиночестве – все его личные гости были предупреждены, что после торжеств надо пожаловать на обед.

Большим оказалось застолье: Мария Петровна, все дочери и сыновья с семьями и такие гости-пировальщики – соратники из писателей, партийных работников, дочь тогдашнего председателя правительства А.Н. Косыгина, ещё близкие ему люди.

Остались от того обеда две странички в блокноте. Что же в них, где Шолохову, собственно, принадлежат всего-то два слова?

...Московский поэт Егор Исаев, когда пришло ему время для поздравления, взялся в подарок юбиляру читать что-то из своей поэмы «Суд памяти». Читал – отдаёт должное – мастерски: по обыкновению проникновенно, захватывающе звучно складывая каждый слог своего чтения в чувства. Вдруг вижу – напряжённо сопереживающие поэту глаза Шолохова начинают увлажняться. Ему от этого на многолюдье, как догадываюсь, становится неловко. Он хочет унять уже наворачивающиеся слёзы и хватается за сигарету. Но, как понимаю, на крайнем пределе внутренних сил растроганное состояние не утишается...

Те, кто сидел с ним рядом, тоже уловили эту нарастающую напряжённость – она могла стать опасной для ещё не оправившегося от болезни старого человека. Какими-то за спиной Шолохова знаками они дают знать Исаеву, чтобы перестал.

Поэт, смотрю, мгновенно уловил, что разрядка нужна и, найдя первую по смыслу возможность, оборвал чтение. Не только он уловил. Тут же поднимается донской писатель Виталий Александрович Закруткин. И оба, едва успев сойтись и перешепнуться, заводят на два голоса песню – старинную песню донских казаков. Знать, не впервой пели.

Слаженно выводили, особенно когда дошли до слов о Доне-батюшке:

*Я по батюшке плачу, я горюю.
Я по родному плачу, я горюю.
Ой, по родной стороне грущу...*

Мне и теперь, спустя уж сколько лет, всё никак не сыскать выражений, чтобы наиточно выписать, как слушал Шолохов песню – умиротворённо, что ли? Одно выражу определённо: всем было видно, что он оттаивал под её звуки.

Когда певцы спели, в тишине прозвучало, вконец разряжая напряжённость, благодарствие, по-шолоховски неожиданное:

– Песельникам чарку!

Произнёс это, на усмешливость настраивая, таким тоном, будто и в самом деле атаман-командир перед строем казачьего воинства ухарски выкликнул команду. Вот только не по-командирски, а по-шолоховски улыбнулся.

ДИКТОВКИ СЫНУ О ЗАПРЕТНОМ

Поклон младшему сыну писателя Михаилу Михайловичу, что добросовестно перелагал на бумагу диктовки своего уже безнадежно больного отца. То сам что-то спросит, то отец попросит посидеть рядом – хотел выговориться.

Сын спросил: «Почему стал возможным культ Сталина?» Ответ, если ради краткости дать записи сына в извлечении, был таким:

– Да вдумайтесь сами: а что же ещё у нас могло после революции получиться? Вот, скажем: «Вся власть Советам». А кого в Советы? Думаешь, кто-то знал ответ? «Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» – вот и всё. Но это, милый мой, на плакатах хорошо... А ты с этим в хутор приди, к живым людям. Рабочие там, понятно, не водились. Крестьяне? Крестьяне – пожалуйста, сколько хочешь, все – крестьяне. Кто же будет от них депутатом?.. Да уж, конечно, не дед Щукарь. И не Макар с Размётновым, которые и семьи-то собственной сложить не могут, в собственных куренях порядка не наведут... Казаки им так и скажут, вы, мол, братцы, двум свиньям жрать не разделите, потому что больше одной у вас сроду и не бывало, какие же вы для нас советчики? А яковов лукичей да титков нельзя. Советы и создавались, чтобы их как класс... Вот и оказались самыми подходящими «солдатские». Кто с оружием в руках завоевал эту власть, тому и властвовать. А они что же... Агитаторы и рубаки, как правило, неплохие. И может быть, «хорошие ребята», как у Ивана Дзержинского в опере поётся. Но чтобы жизнь по-новому переделать, мало быть хорошими ребятами... И вот расселись эти герои революции по руководящим креслам... Знаний-то фактически никаких. Только и оставили войны умение одно – получать приказы да отдавать. И летит хуторской комиссар сломя голову к станичному за приказом. А тот, такой же умелец, как он сам, только званием, может, повыше – в область. А тому куда? Тут уж хочешь не хочешь, а должен где-то на самом верху появиться вождь. Именно вождь. Верховный Главнокомандующий. Человек, способный взять на себя смелость принимать окончательные верховные решения... Для всех. Сверху донизу и от Москвы до самых до окраин...

Пространен монолог на страницах этой публикации. Но он сверхкраток, если сравнивать с тем, что у других в многостраничном изложении стало появляться в печати после 1985 года. Приоритет Шолохова в том, что он, пожалуй, первым стал говорить не об особенностях личного характера Сталина, тем более клинических.

Так я понял то, что отец оставлял сыну. Дальше снова слово Шолохову:

– Вообрази себе на минутку то время. Окинь его одним взглядом с высоты птичьего полёта, как говорится... Революция. Гражданская война. Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего, тем пакостна, что ни победы, ни победителя в ней не бывает...

У тётки моей, у твоей бабки двоюродной, Ольги Михайловны, четыре сына: Иван, Валентин, Александр и Владимир. Трое – бойцы добровольческой армии, а Валентин –

красный... Выбьют красные белых с хутора, Валентин заскакивает домой, воды попил, не раздеваясь: «Ничего, мать, не горюй! Сейчас всыплем этой контре, заживём по-новому!» На коня – и ходу! А мать в слёзы – волосы на себе рвёт... А через день таким же макарон Иван влетает. «Был Валька-подлюка? Ну, попадётся он мне! Ничего, погоди, мать, немного, выбьем вот сволоту эту с нашего Дона, заживём по-старому!» А мать уже об печь головой бьётся... И так ведь не раз, не два.

Избрали хуторскую советскую власть. Не хуторяне, конечно. Станичная власть её избрала... И вот сидит эта новоизбранная власть в атаманской правленческой избе или в экспроприированной хате какого-нибудь «хуторского богача». А за окном-то неуютно... Через окно, бывает, и постреливают. Будешь ты ждать, когда тебе пулю в лоб влепят? А то и просто вилами в подходящем месте? Никакой настоящий мужик ждать этого не будет. Повесит он наган на бок, чтоб всем видно было, и пойдёт сам врагов искать. И как его определишь, врага-то, когда на тебя чуть не каждый второй чёртом глядит? За ведьмами так когда-то гонялись... Час от часу подозрение растёт – страх всё сильнее; страх подрос, а подозрение, глядь, уже и в уверенность выросло. Остаётся лишь в «дела» оформить эту подозрительную уверенность, которую тебе нашептала твоя «революционная бдительность»...

Шолохов не потрафил и другой стороне:

– А те, кто не при власти оставались, думаешь, сидели, молчали? Нет, брат, тоже и брыкались, и бодались, и блеяли, кто как мог. Вот и разберись тут, кто виноват...

Он нашёл в себе силы подняться до высот стратегически смелых обобщений:

– Когда там по вашим учебникам Гражданская закончилась? В 20-м? Нет, милый мой, она и сейчас ещё идёт. Средства только иные. И не думай, что скоро кончится. Потому что до сих пор у нас что ни мероприятие – то по команде, что ни команда – то для людей, мягко сказать, обиды...

Ещё обобщения:

– Паршивые, бездарные ученики мы у истории – вот что плохо. А у неё одно весёленькое такое правило есть. Всё, что для предков правым было, для потомков чаще всего неправым оказывается. И далеко ходить не надо. Всё, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на штыки подняли. Но и всё, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, кто восторгается, скорее всего уже наши внуки проклянут. А мы всё продолжаем думать, что нас минет чаша сия.

Гомером надо быть, чтобы суда уже ближайших потомков избежать. А мы что же?

Временщики. «И каждому довлеет доля его». Не способны мы и на шаг от «злости дня» отойти. Ни от злости дня, ни от «злости» групп. Думаем, что наше сиюминутное – это и есть то, что устроит всех во веки веков.

ПОСЛЕДНЯЯ БОЛЬНИЦА

1984-й, 9 января. Новая у меня встреча с писателем в качестве директора тогда прославленного Гослита. И снова, увы, в больнице, всё в той же, неподалёку от Москвы-реки, от того места, где когда-то клялись в дружбе Герцен и Огарёв.

Встрече предшествовало письмо. В нём сообщал Шолохову: «Мечтаем начать в новой пятилетке ваше очередное собрание сочинений. Но встретился с А.В. Софроновым, гл. редактором «Огонька», который сказал, что вы хотели бы видеть своё собрание сочинений изданным приложением к журналу. Так ли это?..»

И вот звонок. Мне передают, что писатель хочет поговорить о судьбе своего издания.

Вхожу в палату – уже вечер. Он в кресле на колёсах у письменного стола: простенькая пижама, в распахе на груди виднелся треугольник белой нижней рубахи. На столе книга, газеты, склянка лекарств и две пепельницы. Одна из них давно запомнилась мне своей занятой конструкцией – с крышкой-вертушкой, как у детского волчка. Давно знаю, что курит без удержу – неужто и здесь?

Ушла красота. Иссох – худ до непостижимости. Поредел вихор над высоким лбом, и почти не разглядеть усов. На виске чёрное с пятаяк пятно, почти что язва. Когда рука подымалась и рукав вздёргивался и обнажал предплечье, видел багрово-лиловый кровоподтёк от неисчислимых, как понял, уколов, вторая рука перевязана пониже локтя, наверное, по той же причине.

Но пуще всего привёл в отчаяние голос. Начиная говорить хорошо, а потом всё чаще с передыхом, бульканьем, сипением-хрипами и изнуряющими пароксизмами скрипучего кашля. Поизголялась над ним болезнь – рак горла! А по-прежнему, смотрю, курит свой махорочно-крепкий «Га'луаз», истинно горлодёр. Не бережёт себя – и начал разговор по надобности, и отвечал, хотя и через силу, но охотно, и умолкал по необходимости мысли, а не от боли.

Но могучий ум не сдался. Умиравший писатель остатки своих совсем коротких недель жизни решил отдать хлопотам о первом посмертном издании. Благородные заботы! Не суетные, не пугливые, чистые перед ликом смерти.

...Застал при нём Марию Петровну и дочерей: Светлану и Марию. У стены весь вечер безмолвно сидела на стуле молоденькая медсестра. Такой сиделки-надзирательницы раньше, во всяком случае при мне, никогда не было. Почувствовал, что все готовы к самому плохому. Ощущаю это по глазам, что наполнены предупредительностью, по тщательным бесшумным движениям-хождениям, по щадяще-сдержанному за его спиной шёпоту.

Поздоровался. Меня усадили рядом с его коляской. И уже через минуту-другую пошёл разговор по той теме, ради которой приглашён.

Мария Петровна. Мы хотели бы просить издать собрание сочинений в Гослите – к юбилею...

Он. Да, да... (умолк: кашель, хрипы) это... (пауза) самое... (пауза) хорошее издательство...

Я. А как быть с обещанием «Огоньку»?

Он. Хочу... у вас... в Гослите...

Мария Петровна. Он добрый. Никому не отказывает, вот и пообещал летом.

Я. Могу ли я считать наш разговор официальной просьбой?

Он. Да... да... (по-прежнему натужно выкашливая-выхрипывая каждое по отдельности слово, даже эти вот краткие).

Я спросил: надо ли готовить иллюстрации? Хорошо, что спросил, спор пошёл. Жена и дочери – за, а он: «Не хочется...» Они настаивают, он: «Не хочу... Не надо... Не нравится...»

Вдруг, может, чтобы остудить страсти и прекратить спор: «Давайте-ка... угостите... гостя...»

Для меня-то какая радость: закрепляем его согласие издаться именно в Гослите, как по привычке многие именуют «Художественную литературу», да ещё по казачьему обычаю с рюмкою. Сам он не потянулся к ней – кивком велел передать дочери.

Закончился деловой разговор. То и дело мелькала мысль: не утомить бы чрезмерным присутствием. Он углядел порыв подняться. И велит не уходить. Как и все прошлые разы, я догадывался: Шолохов плохо чувствовал себя в больницах ещё и потому, что не доставало и новостей, и живого общения с вольными людьми.

Взглянул на мою лишь чуть-чуть початую рюмку: «У нас... пьют... до дна... Закусывай... Закусывай...»

Слово за словом – и пошёл разговор, да не по компасу, а по настроению. И чтобы предстало понятным, как он непринуждённо складывался, скажу, что я отважился (сказалась, видно, рюмочка!) даже на песню, на казачью, из тех мест в Казахстане, где прошло детство. Это после того, как в разговоре упомянулись Иван Шухов и его некогда знаменитый казачий роман «Горькая линия» о тех казаках, что жили по Иртышу, а это и моя река.

Он стал силиться рассказывать о каком-то рассказе Бунина. Но сип и припадок кашля не

дали ничего разобрать-понять. До сих пор терзаюсь, что ушло в невозвратимое ничто прощание Шолохова со своим соотечественным собратом по Нобелевской премии, кого и чтит, и укорял.

Успокоился и отчего-то сообщил, что в Ростове идёт судебный процесс над крупным жульём, но вдруг такое: «Не национальность... определяет... судят разных... русские... евреи... армяне... греки...»

Приметно было, что когда кашель-лиходей заставлял умолкнуть, прерываться, то глаз не опускал, а как раз обращал свой долгий взгляд тому, с кем говорил. И был тот взгляд не пристальный, не в упор – было бы неприятно, а мягко-грустный, извиняющийся.

По какому-то поводу стал произносить: «Праздник у нас... через два дня... свадьба... шестьдесят лет... вот когда-а поженились...»

И улыбнулся, преодолевая боль.

Стали гадать, как называть такую свадьбу – золотая ли, бриллиантовая ли.

– Стальная! – переименовала младшая дочь безо всяких красотостей и сразу одним этим простым словом обозначила, как прочно прожиты совместные десятилетия.

– Из нержавеющей, – без промедления уточнил он совсем уж тихим голосом, но придал ему свою знаменитую лукавинку.

И показалось, что всего-то этих двух слов хватило, чтобы неизлечимая хвороба пожалела его и отступила – глаза блестели: оживлённые, молодые. Напоминал он мне сейчас Суворова из старого фильма – маленький, сухонький, с седым завитком на огромном лбу и озорной усмешкой.

– Как же начинали совместную жизнь? – спросил я.

Он отмолчался. Мария Петровна ответила – вспомнила суровую после Гражданской войны Москву с её голодными и холодными лишениями. Уточнила:

– Трудно приходилось, когда начинали. Иной раз на целую неделю одна селёдка да несколько картошек в чугушке. Гонорары у него ещё в тот год были редкие да маленькие. Шолохов внимал, не перебивая, безотрывно глядя на неё и никого, казалось, вокруг не замечая. Глаза у него в те минуты не только слушали – они говорили.

Счастье было видеть это его, как в те мгновения уверовал, влюблённое состояние.

И не ошибся в этой вере. Случилось, оказывается, продолжение всему тому, что услышал в тот день о верном в десятилетиях содружестве-любви. И светло от бывшего счастья, и скорбно из-за неотвратимо наступающей беды это продолжение. Но, слившись, воспринимается узанное как необыкновенно возвышенные порывы редкостных в наш суховатый век чувств верного на любовь и верного на благодарность за любовь 79-летнего человека. Вот это продолжение...

11 января. Прямо в больничной палате супруги Шолоховы праздновали юбилей. Гостей, понятно, было немного. Маша-Мария, младшая дочь, поведала мне на другой день, как радовался отец гостям и поздравлениям в телеграммах и по телефону, как выделил приветствие из нашего издательства, которое изобразили шутливым плакатом.

18 февраля. Он уже в Вёшках, куда заставил постоянными настойчивыми просьбами вернуть себя. Наверное, понял, что больница бесполезна. Утром, когда проснулся, обратился к Марии Петровне, как она потом рассказала:

– Мы с тобой уж так стали похожи друг на друга, что мне даже и сон приснился, что для нас обоих подседлали одну лошадь... зелёную.

21 февраля – последняя у него ночь. Ещё из рассказов Марии Петровны:

– В одиннадцать, но, может, и в двенадцать ночи за два-три часа до кончины позвал, взял мои руки, и всё их к себе, к себе притягивает, и тянется, тянется... Уж сил совсем не было, а потянулся. Я не сразу и догадалась, что тянулся поцеловать...

Вот же какое пронзающее свидетельство, как сердце сердцу последнюю весточку передало.

Но верну своё перо к событиям 9 января. Передаю Шолохову слова участливого приветия Леонида Леонова, с которым довелось переговорить перед самым своим выездом в

больницу.

Ответил заботливо: «Как... он... там?.. Спасибо... ему... доброе...»

В прошлую встречу, вспоминаю, тоже заинтересованно, хотя никогда не были друзьями, расспрашивал о Леонове, о том, в частности, пишет ли, работает ли? Задумчиво – так запомнилось – воспринял мой рассказ, что Леонов в каждый том своего переиздаваемого собрания сочинений вносит значительнейшие поправки и вставки.

Оживился – это я принялся рассказывать, что перечитал его, шолоховскую, публицистику военных лет и, напоминая, переложил сюжет-фабулу одного из очерков.

Небольшое отступление. Летом 1983-го, после того, как наслушался от Шолоховых охотничьих рассказов, осмелился перерассказать – явно дерзко – как-то услышанные слова Сергея Тимофеевича Конёнкова об охотничьем увлечении писателя, заранее скажу, не похвальные. Старый скульптор так выразился: «Шолохов – он наш Толстой, а не одобряю его этой страсти. Зачем он убивает уток и гусей?..»

Потом, чего скрывать, я пожалел о сказанном. Мне показалось, что Шолохов обиделся. Ведь все знают, какой он давнoletне-страстный охотник. Потому-то, улучив настроение-момент, так прямо и сказал: «Мне показалось, что вы тогда обиделись...»

Ответ был на три фразы.

Первая:

– С годами... всё меняется...

После мучительно воспринимаемой передышки-паузы, что продлевается ещё и ещё приступами кашля, снова слабый голос:

– У нас... в районе... этой зимою... последнюю волчицу... убили...

И напоследок, как бы заканчивая объяснения с прославленным собратом по искусству, произнёс совсем короткую фразу. Она даже и неоконченная не оставляла никаких особых сомнений в том, что мог бы дальше высказать:

– Всякий... зверь... красивый...

Переглядываемся с Марией-Машей и – невольно, не сговариваясь, – вслух повторяем это поразившее своей мудрой простотой изречение. Он кивнул, как бы ещё раз удостоверяя высказанное.

Она вышла меня проводить до лифта. Проговорила: «Брат мой, Саша – старший – тоже здесь. Рак... Тоже. Его положили в другое отделение. Разве можно им встречаться? Папа не выдержит, если узнает».

ПОСЛЕДНИЙ ДОГОВОР

С утра следующего дня начал заниматься главной просьбой писателя – обсуждали в издательстве и Комитете по печати, как побыстрее и получше приступить к подготовке собрания сочинений. Многие помогали, ибо многое бы заранее предусмотреть: и сколько томов, и каким тиражом, а с бумагой всё ещё страшно плохо, и каким должно быть предисловие, и ещё, ещё.

Понимали, что времени Шолохову отпущено ничтожно мало. Дни? Недели? Хотелось потому хотя бы чем-нибудь засвидетельствовать ему, что подготовка началась.

Меня и Юрия Николаевича Верченко, секретаря Союза писателей, приглашают в ЦК, к секретарю, который ведает идеологией и культурой. Он просит ускорить подготовку договора – сказал, что сообщения врачей совсем плохие.

19 января. Вместе с Верченко привозим в больницу этот издательский договор – на подпись.

Застали всё в той же коляске и даже в той же позе у стола – спиной к двери, ко всем входящим.

В палате он не один: Мария Петровна и старшая дочь.

Вглядываюсь. В уголках губ бурые пятнышки – нам потом пояснили, что незадолго до нас шла горлом кровь. По правую руку на столе книга воспоминаний маршала Жукова.

Рассказываю ему об условиях договора и прошу подписать. Он взял ручку, бегло охватил взглядом бланк договора и – твёрдо, чётко – подписал. Заметил полагающуюся на этом документе роспись главного редактора и передал ему привет. Уважал его.

Верченко рассказал, что секретариат Союза писателей постановил провести осенью пленум по случаю 50-летия создания писательской организации. Слушал почти что безразлично. Встрепенулся – да как заметно – когда я «заявил»:

– А разве Шолохова можно приглашать?!

И держу паузу: нарочитую. Приём сработал – Шолохов весь внимание. Я продолжил по неожиданно втемяшившемуся сценарию, чтобы как-то разжечь ушедшего в боль человека, и даже нарочито обратился будто бы не к Шолохову:

– Он же раскритикует всех... Помните, как он в своих речах критиковал Фурцеву, Эренбурга, Симонова... Он же с шашкой наголо придёт на пленум...

Сценарий удался – он оживился.

И вдруг о тех, кого я помянул:

– Они... же все... умерли...

Кому по силам разгадать, что он вложил в эту фразу. Когда прощались, его глаза увлажнились.

ПОСЛЕДНЕЕ ТРЕБОВАНИЕ

К середине февраля из Вёшенской пришло письмо и знакомая подпись. И дата: 9 февраля. Говорят, что это самое последнее письмо Шолохова, связанное с литературными заботами. В нём всего шесть строк. Все они истинно без лишних слов подчинены одному: подготовке собрания сочинений. Он назвал имя составителя предстоящего издания – выбрал младшую дочь.

Немедленно отправляю ответную телеграмму: «Госкомиздатом СССР принято решение об издании Вашего собрания сочинений в предложенном Вами объёме. Выполнена Ваша просьба о привлечении Марии Михайловны Манохиной-Шолоховой в качестве составителя сочинений. Приступаем к работе. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким».

И ещё выпало мне прикоснуться к его творческому завещанию. Мария Михайловна передала наиважный документ – отцов наказ восстановить в «Тихом Доне» в числе нескольких фамилий прежде всего Троцкого.

Это указание Шолохова – особая строка его творческой биографии. Он решил побороться за полную по своим возможностям историческую правду в теме рассказывания. Речь о том, что ни Сталин, ни последующие вожди не могли никому позволить обнародовать даже в художественном произведении, что именно партия и власть развернули ликвидацию казачества. Троцкий в Гражданскую всячески поощряет эту изуверскую кампанию – так и его не упоминать, ибо посланец Центра. Явный, казалось бы, парадокс: Троцкий и давно уже лютый враг Кремлю и лично Сталину, и давно уже убит в эмиграции, но нет права Шолохову назвать его в числе виновников трагедии. Однако у партагитпропа своя логика. И вот автор решается восстановить правду. Покончил с многодесятилетним запретом. Теперь всё становилось на свои места – ведь без имени Троцкого получалось, что виновники рассказывания только-то и были местные перегибщики.

Я на всякий случай счёл за благо ничего не рассказывать о велении Шолохова ни в ЦК, ни цензорам-главлитчикам. Так и прошло. Никто и предположить не мог, что в романе можно что-то отреставрировать.

Собрание сочинений вышло миллионным тиражом.

НЕУМОЛИМЫЙ ОТСЧЕТ ДНЯМ, ЧАСАМ...

Високосный год брал в свою власть и Шолоховых тоже.

...Вдруг он затребовал вернуть его домой в Вёшки. Мария Петровна и дети в отчаянии – там же не будет таких врачей.

Врачи же главной кремлёвской лечебницы справедливо сказали: «Не надо перечить...

Если ему хочется... Вдруг возвращение станет чудом...»

Но выезд всё откладывали – погода плоха для самолёта. Вёшенец каждое утро взглядом – в нетерпении – в окно: какое небо?..

Летели небольшим самолётом – обком партии побеспокоился и выделил Як-40.

Дома ему разрешали многое. Сперва всё как прежде при какой-нибудь обычной болезни: с утра газеты, потом подписывал депутатские ходатайства – «по начальствам», брал в руки книги...

Но дикая боль брала своё – одно сказать, такую болезнь вовсе не зря назвали в народе при жутком клешневатом облике «рак».

Врач поражена: он отверг наркотики – никаких уколов с обезболивающим.

Уходил в дрему или в прерывистый ночной сон, только если рядом была рука Марии Петровны.

Чувствовал неловкость, что с ним даже после рабочего времени просиживали врач и сестра. Пытался урезонивать их – идите, идите же по домам, со мной ничего не случится...

Тяготился и тогда, когда сам уже не мог взять в руки кружку с чаем или когда ему меняли рубашку. Возненавидел своё всё более крепнущее бессилие.

Курить не перестал.

Все догадывались, что он знал о своей безнадёжной болезни.

И всё-таки пытался-силится жить. Вдруг вспомнил – обещал какой-то сельской библиотеке «Тихий Дон» с автографом. Вдруг попросил секретаря сходить в райком и заплатить партийные взносы. Тот, не подумавши, произнёс: «Есть ещё время», мол, середина месяца, а платить надо в конце. В ответ «заработал» какой-то в новизне особый взгляд, что был полон непонимания – неужто не ясно, что для жизни каждый миг значим. Вдруг всплыли в памяти обязательства перед моим издательством, о которых я рассказал выше.

Скончался Михаил Александрович Шолохов 21 февраля 1984 года глубокой ночью у себя дома, на втором этаже. Секретарь остановил маятник часов в час и сорок минут.

Над станицей стоял лютый мороз, и заявил о себе ударами по окнам свирепый степной ветер.

http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg112005/Polosy/8_1.htm#1